

П. Вайль, А. Генис

Евангелие от Ивана. Крылов

В безусловной, широчайшей славе Ивана Андреевича Крылова ощущается привкус второсортности. Эта терпкость — конечно, от оскомины, которую набили за два века крыловские басни. Однако и современники не все были в восторге от его произведений: весьма критически, например, смотрел на Крылова саркастический интеллектуал Вяземский. Но он и ему подобные находились в явном меньшинстве. «За Крылова» были и Пушкин с Жуковским, и Булгарин с Гречем, и Гоголь с Белинским. Наверное, такое единодушие как раз и смущало Вяземского.

Дальше — по всей российской истории — в любви к Крылову сходятся консерваторы и либералы, монархисты и социал-демократы, красные и белые. Вопреки завету Некрасова, никто не нес и не несет с базара Белинского и Гоголя, а вот Крылова — несут и знают наизусть. С популярностью дедушки Крылова может сравниться разве что Пушкин. То, что в массовой памяти хранятся только отдельные строчки — это нормально, иначе и не бывает в общественном функционировании стихов. С Пушкиным дело обстоит точно так же: «Мой дядя самых честных правил», «Я помню чудное мгновенье», «Богат и славен Кочубей» — а как дальше?

Когда Крылов умер, последовало высочайшее повеление воздвигнуть ему памятник. Как сказано в циркуляре министерства просвещения, «сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до восточной грани Европы, знаменами жизни и духовной силы населяют пространство вашего необозримого отечества».

Крылову предстояло немедленно после кончины стать таким символам духовной силы, каким до него были признаны только три литератора: Ломоносов, Державин и Карамзин.

Компания характерная. Основатель первого университета, реформатор русского языка Ломоносов, величественный одописец Державин, главный российский историк Карамзин. И с ними — автор стишков, по определению Гегеля, «рабского жанра». Басенник,

Памятник был поставлен в петербургском Летнем саду, и в жизнь России вошел не только автор запоминающихся строк, но и конкретный человек: толстый, сонный, невозмутимый, в окружении зверюшек. Дедушка. Мудрец. Будда.

Этой поистине баснословной славе не могли помешать никакие вяземские. Введение плебея — по рождению и по жанру — в сонм русских духовных небожителей было только частичной расплатой за науку. Признание, которым облакали Крылова все режимы и все властители — лишь малая толика долга, в котором пребывает перед Крыловым Россия. Потому что его басни — основа морали, тот нравственный кодекс, на котором выросли поколения российских людей. Тот камертон добра и зла, который носит с собой каждый русский.

Такая универсальность Крылова ввергает его в гущу массовой культуры. Отсюда и ощущение второсортности — слишком уж все ясно. Хоть парадоксы и двигают мысль, в сознании закрепляются только банальные истины. Когда обнаружилось, что сумма углов треугольника не всегда равна 180 градусам, а параллельные прямые могут и пересечься — обрадоваться могли лишь извращенные интеллектуалы. Нормального человека эти новости должны раздражать, как бесцеремонное вторжение в налаженный умственный быт.

Заслуга Крылова не в том, что он произнес бесконечно банальные и оттого бесконечно верные истины. Они были известны и до него. В конце концов, нельзя забывать, что Крылов следовал известным образцам — от Эзопа до Лафонтена. Главным

его достижением были прописные истины. Но самое важное совершил даже не сам поэт, а годы и обстоятельства российской истории, благодаря которым значение Ивана Андреевича Крылова в русской культуре грандиозно и не идет ни в какое сравнение с ролью Эзопа для греков или Лафонтена для французов.

Незатейливые крыловские басни во многом заменили в России нравственные установления и институты. Примечательно, что и сам Крылов, и его современники — даже весьма проницательные — полагали, что он растет как раз от моралистики к высокой поэзии, и не ценили утилитарную пользу басен. «Многие в Крылове хотят видеть непременно баснописца, мы видим в нем нечто большее», — писал Белинский. И далее: «Басня как нравоучительный род поэзии в наше время — действительно ложный род; если она для кого-нибудь годится, так разве для детей... Но басня как сатира есть истинный род поэзии». Примерно так же отзывался о крыловских баснях Пушкин.

В этих суждениях явственен элемент оправдания: все же басня — дело служебное, низменное, детское. Другое дело, если она — сатира...

Великие русские умы оказались неправы. Крылов написал две сотни басен, из которых уцелели для отечественной культуры не больше двух десятков. Десять процентов — это очень высокий показатель. Но существенно то, что уцелели вовсе не те стихи, которыми гордился автор и восхищались современники. Только в специальных работах упоминаются когда-то сенсационные «Пестрые овцы» или «Рыбья пляска», в которых Крылов разоблачал и бичевал. Они — за пределами массового сознания, как пересекающиеся параллельные прямые. Зато бессмертны строки: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь». Неслаженные квартеты существуют во все времена, без всяких политических аллегорий.

Басне достаточно того, что она по сути своей — и так аллегория. Первая метафора в человеческом сознании. Когда человек задумался, как ему вести себя в окружающем мире, он проиллюстрировал свое мнение примером. А обобщенный пример — и есть басня. Только на помощь пришла младенческая идея антропоморфизма: так появились говорящие лисы, львы, орлы.

То, что на струнных играют проказница Мартышка, Осел, Козел и косолапый Мишка — уже забавно, уже достаточно. Лишь скуку может вызвать знание — кого обозначают эти звери: департаменты законов, военных дел, гражданских и духовных дел, государственной экономики. Посвященные современники могли тонко улыбаться: как отхлестал Крылов Мордвинова с Аракчеевым. Но уже через несколько недель никто не помнил о разногласиях в Государственном совете — тем более, через годы. Осталась складно выраженная банальная истина: суть не подменишь суетой, умение — болтовней. Тем и жив «Квартет» — а не сатирой.

Но Крылов не мог знать, кем останется в памяти потомков, и уж, конечно, не думал оставаться моралистом. Моралистом он уже был — с самого начала.

Насмотревшись на разные стороны жизни (с девяти лет в чиновничьей службе — в Твери, а потом в Петербурге), Крылов обличал порок с 15-летнего возраста, когда написал комическую оперу «Кофейница». Затем пришел черед журнала «Почта духов», который он писал и издавал в одиночку.

Это были зады Новикова и Фонвизина — российский просветительский классицизм: тщеславная Тарагора, глупый граф Дубовой, вертихвостка Новомодова, бездарный Рифмоград, распутницы Бесстыда, Всемрада, Неотказа. По сути, такие произведения не предназначены для чтения: достаточно ознакомиться со списком действующих лиц. Имена исчерпывают классицистское негодование при виде пустоты петиметров и щеголих, засилья французов, ничтожества идеалов светского человека: «Я сыскал цуг лучших английских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать маленького прекрасного мопса; вот желанья, которые уже давно занимали мое сердце».

Мрачным обличителем бродит моралист по балам и приемам, резко выделяясь стилизованной простотой на фоне общества: «Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? – спросил меня незнакомый. – Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашим вопросам мне кажется, что они еще не лишились своей невинности».

Невинное сознание обличителя Крылова более всего возмущали браки по расчету, супружеские измены, проворный разврат, любовники знатных дам, набранные из сословия лакеев и волосочесов. Его несоразмерная ярость заставляет подозревать какую-то личную обиду. Во всяком случае, облик невозмутимого Будды, добродушного дедушки, не вяжется с этим Савонаролой. Примечательно, что к басням Крылов пришел, когда ему уже было за сорок — и, похоже, это возрастное: как громогласные прокламации молодости сменяются старческим брюзжанием — так классицистские проповеди сменились нравоучительными аллегориями про лисичек и петушков.

Но и в баснях Крылов оставался, в первую очередь, моралистом — несмотря на старания современных и позднейших любителей его творчества выявить остросатирическую тенденцию. Кому сейчас есть дело до политических убеждений баснописца? Он по какому-то недоразумению окончательно и бесповоротно зачислен в некий прогрессивный лагерь. Это Крылов, автор басен «Конь и всадник» — о необходимости обуздания свободы, «Сочинитель и разбойник» — о том, что вольнодумец хуже убийцы, «Безбожник» — о покаянии даже намек на неверие!

Но в исторической перспективе все сложилось правильно: этих басен никто не знает, и не надо — потому что они скучны, замысловаты, длинны, темны. А лучшие написаны стройно и просто — настолько, что являют собой одну из загадок русской литературы: никто до Пушкина так не писал. Кроме Крылова. Пушкин открыл шлюзы потоку простоты и внятности, но Крылов как-то просочился раньше.

Чеканные нравоучительные концовки крыловских басен легко было заучивать гимназистам. Гимназисты росли, у них появлялись дети и ученики, которых они усаживали за те же басни. Чиновники и государственные деятели были выросшими гимназистами, воспитанными опять-таки на аллегорической крыловской мудрости. Российскую гимназию сменила советская школа, но басни остались, демонстрируя тезис о нетленности искусства.

Когда Белинский писал, что басня «годится разве для детей», он явно недооценивал такое функционирование жанра. Детское сознание охотно усваивало и несло по жизни нравственные нормы, гладко изложенные в рифму при помощи интересных лисичек и петушков.

На это накладывались обстоятельства российской истории. Страна, не знавшая Реформации — парадоксально лишь контрреформацию (раскол), народ, часто путавший, где Бог, а где царь — ориентировались более на евангельскую букву, чем на евангельскую притчу. Упор на буквальное прочтение текста способствовал развитию в России литературоцентристской культуры, с которой связаны высочайшие взлеты и глубочайшие падения в истории нации.

Главный нравственный источник западного мира — Писание — многосмыслен и альтернативен. Даже самая определенная из речей Иисуса — Нагорная проповедь — допускает множество толкований. Даже когда «ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: ... потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не понимают» (Матф. 13: 11-15) — это снова иносказание. И так со всеми евангельскими притчами: истина, скрытая в них, всегда неоднозначна, сложна, диалектична.

Российская мысль подошла было к понятию альтернативной нравственности. Но произошли исторические события — и вновь воцарилась догма, однозначная мораль. Басни Крылова — тоже догма, но куда более удобная, внятная, смешная. А главное — усвоенная в детстве, когда вообще все усваивается надежнее и долговечнее.

Но раз в силу отсутствия демократических институтов и гласности, мораль в России тяготела к одноплановой определенности, то не отразил ли это Крылов, опираясь на народную мудрость? Пишет же Гоголь: «Отсюда-то (из пословиц) ведет свое происхождение Крылов». В любом учебнике русской литературы — общее место, что моралистические концовки басен вытекают непосредственно из народных пословиц. Но так ли это?

На самом деле, фольклор отнюдь не сводится к ряду прописных истин. Действительно, любой басне Крылова можно подобрать аналог среди пословиц. Но с тем же успехом — и прямо противоположную концепцию. Там, где баснописец предлагает готовый рецепт, народное сознание ставит перед выбором.

В басне «Мартышка и очки» бичуется невежество. Пословица вторит: «Умный смиряется, дурак надувается». Но рядом существует и другое изречение: «Много ума — много греха». Или еще циничнее: «Не штука разум, штука деньги».

Хвастаться и врать нехорошо — поучает Крылов в басне про синицу, которая грозила поджечь море. Правильно—соглашается народ: «Доброе дело само себя хвалит». Но и: «Не бывает поля без ржи, а слова без лжи».

«Ларчик» ратует за простоту без суетности. Пословица тоже умиляется: «Где просто, там ангелов со сто» но тут же опровергает: «Простота хуже воровства»

С детства всем известно, что трудолюбивый Муравей — герой положительный, а попрыгунья Стрекоза — отрицательный. А народ сомневается: есть и «Хочешь есть калачи, так не сиди на печи», и — «От работы не будешь богат, а будешь горбат».

И так — с любой темой. Знаменитое русское хлебосольство отражено в пословицах наряду с известным «Гость в дом — Бог в дом» и менее популярным «Хорош гость, коли редко ходит». Диалектический подход блестяще представлен в пословицах о пьянстве: от «Много вина пить, беде быть» — к «Пьяница проспится, к делу годится» — и до «Пьян да умен, два угодыя в нем».

Все это не похоже на лапидарность крыловских формул, которые высказывают из русского человека быстрее, чем он успевает их осмыслить. «За то, что хвалит он Кукушку?», «Ай, Моська, знать она сильна», «У сильного всегда бессильный виноват», «Речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить»...

Произошло удивительное. Не Крылов зафиксировал нравственную мудрость народа в форме басен. Это народ зафиксировал в своем сознании крыловские басни в качестве нравственной мудрости.

Слишком многое в российской истории сопротивлялось тому, чтобы моральным кодексом управляла принципиальная диалектичность этических норм, идущая от мифов, Сократа, евангельской притчи индивидуализма. Все эти глобальные идеи трансформировались в России особым образом. А Крылов — всегда рядом. Удобный, простой, запоминающийся, однозначный. Снабдивший набором нетленных истин про мартышек и кукушек. Избавивший от хлопот альтернативного мышления, химеры терпимости, разброса плюрализма, утомительной многослойности демократического сознания.

Есть соображение о том, что полнота жизни терпит ущерб от незнания и неумения осознать многообразие путей добра и зла. Но и на это есть басня — про Лягушку, которая хотела раздуться до размеров Вола, да лопнула.

Общественное, идеологическое, надлитературное значение Крылова подчеркивается даже его долголетием. Он как-то сумел охватить весь период становления русской словесности. Почти ровесник Карамзина, он был на 30 лет старше Пушкина и на 45 — Лермонтова, и пережил их всех. Он вошел в историю культуры патриархом — беспечным, ленивым, спокойным, знающим что-то такое, что доверил только безмолвному кладовскому зверью у основания памятника.

А Россия уже столько лет бьется над загадкой Крылова, которого лучшие умы либо недолюбливали (Вяземский), либо хвалили за несущественное (Белинский, Гоголь)

и несуществующее (Пушкин) и обсуждали: низкий жанр басня или нет, подлинная поэзия у Крылова или второразрядная. Но Крылов создал не литературный жанр, а этическую систему. И даже предусмотрел в своем универсальном басенном комплексе недооценку и неблагодарность — написав «Свинью под дубом».